

Вадим Макшеев

ВОЗВРАЩЕНИЕ В РОССИЮ

"...Вспоминаю дом на возвышенности, в котором мы жили, рядом какая-то канава, за ней кукурузное поле, около которого фанза, где обитался китаец с длинной косой... Помню, как он нас пончиками угощал... Внизу была железная дорога, где мы часто и так неосторожно на дрезине катались. Смутно припоминается мне маленькая комнатка и в ней в гробу молодая женщина, одетая и покрытая белым. Здесь мы втроем стояли у стены: отец, ты и я. Горели свечи или лампадки - не помню, все молились, и было тихо. В этой таинственной для меня обстановке я не мог тогда оторвать глаз от красивого необыкновенно белого лица этой женщины, к которой нам не позволяли близко подходить. Этот открытый гроб был затем куда-то унесен, и мне помнится даже чье-то объяснение, что несут его на небо... Помнишь ли ты все это? Кто была та женщина?"

Это отрывок из письма Владимира Успенского, которое он писал брату Георгию в октябре 1954-го года из Александровского централа. Больше сотни писем переписаны Владимиром Михайловичем в две толстые тетради. Письма, написанные ему и полученные им за те два года, когда ему разрешили переписываться. Выцветающие синие чернила, начавшая желтеть от времени тетрадная бумага, четкий каллиграфический почерк.

- Зачем ваш брат переписывал письма? - спрашиваю я Георгия Михайловича Успенского.

- Вы знаете, я задавал ему этот вопрос. Он ответил, что его письма могли затеряться, а те, что он получал, боялся не сберечь в условиях, в которых тогда жил... В тетрадях было легче все сохранить.

Наверное, так. Но я думаю, что письма еще помогали ему и жить. Это была ниточка, связывавшая его с людьми, которые были ему дороги. Переписывая, он словно слышал голоса близких, будто говорил с ними.

Владимира Михайловича сегодня нет в живых, он скончался в 1990-м году в Новосибирске, с Георгием Михайловичем Успенским, который живет в Томске, я знаком уже несколько лет. Так же, как и брат, он много лет провел в концлагерях, но долго я не мог набраться духу поговорить с ним об этом. Отбывавшие срок по пресловутой пятьдесят восьмой не очень-то склонны распространяться о своем прошлом. Хотя и время на дворе иное, крепко вбито в сознание: "О том молчи!"

Переросшая в гражданскую войну Октябрьская революция в России вынудила более двух миллионов людей стать эмигрантами. По разному сложилась их жизнь, но счастливой на чужбине она почти ни у кого не была, а трагическая участь многих из них впоследствии сказалась на судьбах их детей. Не коснулся висевший над родителями рок лишь тех, чьи отцы уехали за океан - в Америку, Австралию, Новую Зеландию. Большинство же эмигрантов осело во Франции, Югославии, Прибалтике, Чехословакии... А на востоке нашли они пристанище в Маньчжурии, где на рубеже веков русские строители проложили Восточно-Китайскую дорогу (КВЖД) и построили город Харбин, оставшийся и после гражданской войны островком России за ее дальневосточными рубежами. Проживало в Харбине в начале двадцатых годов около двухсот тысяч русских, город был перенаселен, и найти здесь работу, которая соответствовала бы полученному когда-то образованию, эмигрантам было трудно. Бывшему штабс-капитану Михаилу Михайловичу Успенскому пришлось устроиться ночным сторожем. Ходил по околотку, периодически ударяя колотушкой по пустотелому деревянному цилиндру, дабы знали домовладельцы и хозяева многочисленных лавок и магазинчиков, что охрана

Бодрствует И Юра (так по настоянию отца, утверждавшего, что Георгий и Юра - одно и тоже имя, звали в семье старшего сына), пробудившись ночью, постоянно слышал этот то удаляющийся, то приближающийся стук. Платили за стороженье мало, и, чтобы прокормить семью, днем отец разгружал на железнодорожной станции вагоны.

Неприкаянность и невзгоды сказались на здоровье его жены, болезнь осложнилась родами. Появившийся на свет младенец сразу умер, через несколько дней ушла из жизни и жена штабс-капитана... Я видел у Георгия Михайловича две ее фотографии - на одной одетая по моде далеких двадцатых годов женщина с большими печальными глазами, на другой она же в гробу. У изголовья муж держит на руках старшего сына, младшего взял на руки кто-то из пришедших отдать последний долг покойной. Белое лицо, белое покрывало, на котором выращенные на чужой земле цветы... Та, о которой через много лет выросший в другой, чужой стране ее сын будет спрашивать в письме брата - кто была эта женщина?..

Она не дожидая до времени, когда ее мужа взяли на работу крупье в вечернем казино, после чего он стал больше зарабатывать, и у ее детей появилась приходящая нянечка. А в 1926 году в доме появилась и новая мать - немка Эмма Людвиговна. До революции Эмма жила в Москве, где была замужем за русским, от которого родила дочь, но вскоре развелась и вышла замуж за приехавшего в Москву немецкого пивовара Франца Вайсмайера, который увез ее в Германию. Но что-то в их семье не сладилось, и Эмма Людвиговна оказалась в Харбине, где повстречалась с привлекательным русским эмигрантом-вдовцом... Прошел год, и она стала уговаривать Михаила Михайловича уехать в Германию. Договорились, что сначала поедет с детьми она, там окончательно решит вопрос о разводе с мужем, и тогда к ней из Харбина приедет Успенский. Но перед самым отъездом Юра внезапно сильно заболел и остался с отцом. Увезла Эмма Людвиговна только младшего Володю.

Из письма Владимира Успенского брату. Александровский централ, 3 октября 1954 года.

"...Это было ночью, меня одели в теплое пальтишко и огромную шапку. По русскому обычаю присели на прощанье. Дальше, как я на поезд попал, не помню, вероятно, заснул у кого-то на руках. Утром смотрел на мелькавшие мимо покрытые снегом поля, леса и избышки и удивлялся, как быстро мчится поезд. По дороге я сильно заболел, вероятно, какой-то неприятной болезнью, ибо Эмма Людвиговна, которая велела называть себя мамой, когда входил кондуктор, всегда лицо мне прикрывала и очень беспокоилась, что могут нас с поезда высадить. Все-таки до Москвы мы доехали благополучно, только на некоторое время пришлось остановиться в гостинице и прибегнуть к помощи врача. В конце концов я очутился уже на Рейне, в Оберкасселе, вблизи Бонна. Каким образом я вдруг из московской гостиницы туда попал, несмотря на все мои усилия вспомнить, не могу. Как будто уснул в Москве и проснулся у подъезда дома, в котором предстояло жить. Нас радушно встретили супруг моей новой матери Франц Вайсмайер и Люся Охотская, дочь Эммы Людвиговны от ее первого мужа. Так, дорогой Юра, помню этот кусочек далекого прошедшего своей жизни".

Из письма Георгия Успенского брату Владимиру Успенскому. Вихоревка, 16 октября 1954 года.

"...Однажды случайно мне попало в руки письмо дочери Эммы Людвиговны, в котором она обращалась к нашему отцу и ко мне, как к брату, в ожидании нашего скорого приезда. Письмо я обнаружил, когда мне было уже лет 15-16, оно было без конверта, так что я не мог узнать адрес, а то бы, глядишь, и прикатил к вам... Почему переписка отца с Эммой Людвиговной прекратилась, я не ведаю. На мои вопросы отец отвечал уклончиво, отговаривался, что не знал вашего местонахождения. Через два или три года после твоего отъезда в Германию поехал наш дядя по матери Переломов, который по настоянию отца

должен был забрать тебя у Эммы Людвиговны и с попутчиком отправить к нам в Харбин. Но, видимо, Эмма Людвиговна не захотела этого.

Через два года после твоего отъезда отец, приняв китайское подданство, устроился старшим телеграфистом на железной дороге и вскоре женился на Елизавете Дмитриевне Мишановой, от которой через пять лет родился наш братишка Александр. С мачехой я жил недружно, но отца она очень любила, и был он между двух огней... В 1937 году я ушел из дома и женился на Ирочке Осьминской, через год у нас родился сын Валентин. Таскался я по своей молодости и глупости по всем городам, пока не остепенился и обосновался на станции Сарту. Обзавелся молочным хозяйством, домом и начал жить довольно прилично. Одновременно стал работать в уездном управлении паспортистом. В должности этой я не нуждался, был у меня приличный доход от своего хозяйства (возил в Харбин на продажу масло от своих коров), но служба в уездном управлении освобождала от призыва в Маньчжурскую армию. Боялся - не дай Бог, еще заставят воевать против России..."

В ту пору Маньчжурия уже несколько лет была оккупирована японцами, создавшими на ее территории марионеточное государство Маньчжоу-Го. Марионеточная власть, марионеточный император Пу И, портретам которого местные чиновники обязаны были во время торжественных церемоний отвешивать поясные поклоны... Осенью тридцать девятого началась вторая мировая война... Через полтора года фашистские войска вторглись в СССР, Япония объявила войну Америке и, выжидая скорого поражения Красной Армии, готовилась к вторжению в Россию. Но на западе война затягивалась, терпели поражение немцы, и все чаще доносились из Москвы в Харбин пробивавшиеся сквозь грозовые разряды и шорохи батарейных радиоприемников далекие победные салюты. Расквартированная в Маньчжурии Квантунская армия готовилась теперь не к наступлению, а к обороне.

В августе сорок пятого в Маньчжурию вошли Советские войска. Капитуляцию Японии подавляющее большинство эмигрантов восприняло радостно гордились победой России, любовь к которой за годы японской оккупации стала у них еще более обостренной. Хотелось быть полезными Родине, с которой после прихода Советской армии они воссоединились, хотелось верить тому, что пишут в советских газетах. Неужто будут большевики сводить старые счета с эмиграцией? И, казалось, уже совсем нечего опасаться их детям.

Наша жизнь привольно и широко,
Словно Волга полная течет...

Как ликующе звучали по радио слова этой популярной тогда песни, как вдохновенно пели ее на харбинских улицах выросшие за рубежом дети русских эмигрантов!

Молодым везде у нас дорога...

Минуло в том году Георгию Михайловичу двадцать восемь лет. Из многочисленных дорог оставалось выбрать самую прекрасную.

Осенью прочел он в местной газете объявление, что при управлении КВЖД открываются краткосрочные курсы, на которых будут готовить начальников железнодорожных станций и их помощников. Написал заявление, автобиографию и отправился к Харбин. Отец его уже больше месяца, как уехал из города куда-то в провинцию, и ночевал Успенский у своих знакомых. Утром в управлении КВЖД человек с военной выправкой, глянув на поданные ему документы, ответил, что решение сообщат завтра, и попутно поинтересовался у Успенского, где он остановился.

А на следующий день за ним пришли два вооруженных солдата. Под конвоем его привели в здание, где еще недавно была японская жандармерия, а теперь разместился

СМЕРШ, и заперли в одиночной камере. Отсюда началась дорога в неведомую доселе жизнь.

Минули сутки, миновала неделя. Он продолжал надеяться, что произошла ошибка - преступлений он не совершал, ни в каких политических организациях и партиях не состоял, разве что в детстве был скаутом... На двенадцатый день его осмотрел врач, после чего его перевели в общую камеру, где ожидали своей участи более двадцати таких же, как он, харбинцев. Опять томительно потянулись дни и ночи.

Однажды в камеру вошло несколько военных, и старший по званию объявлял, что всех находящихся здесь готовят к отправке в СССР. "Пройдете там проверку, благонадежных устроим на работу. Получите квартиры, выпишите к себе семьи". Тут же каждому вручили по карандашу, листку бумаги и приказали написать домой, чтобы передали сюда теплые вещи и сколько-нибудь денег...

Не думал Успенский, что это его первое и последнее письмо из неволи жене. Спустя девять лет он напишет брату: "Недавно узнал, что Ирочка в 1953 году вышла замуж. Много лет она не имела от меня никаких известий, осталась с ребенком, матерью и хозяйством... Я ее понимаю и не осуждаю".

Но тогда все было впереди - этапы, лагеря, удары судьбы... Ночью заключенных на бортовых машинах увезли за город, где на запасном пути стоял подготовленный железнодорожный состав. Один за другим подходили грузовики, и при свете прожекторов людей перегоняли в товарные вагоны.. Стук задвигаемых дверей, лязг железных перекладин, последняя ночь в Харбине... Когда в маленькие зарешеченные окошки забрезжил рассвет, стукнули буфера, качнулись вагоны, и застучали на стыках рельсов колеса. Границу переехали следующей ночью. Утром кто-то лежавший на верхних нарах у забитого решеткой окна негромко сказал:

- Кажись, братцы, мы уже в России.

Убегали стоявшие вдоль насыпи телеграфные столбы, стлался, оставаясь позади, паровозный дым. Прощай, Маньчжурия. Прощай навеки.

Из письма Владимира Успенского брату Георгию Успенскому. Александровский централ, 25 октября 1954 года.

"...В Оберкасселе очутился я среди совершенно незнакомых людей. Франц Вайсмайер, супруг Эммы Людвиговны, был на 20 лет старше ее. Это человек с высшим образованием и добрейшей душой. По отношению ко мне проявлял настоящую отцовскую заботу. Но хозяйкой дома в полном смысле слова была Эмма Людвиговна, а он лишь послушным кормильцем, выбивающимся из сил для содержания семьи. Будучи тихим и добродушным, он безропотно переносил любые обиды от жены. Не имея собственных детей, очень любил Люсю, дочь Эммы Людвиговны от ее первого мужа. В свою очередь Люся Охотская стала для меня доброй сестрой.

В 1927 году меня поместили в школу, где один учитель преподавал в большом зале нескольким классам сразу. Я сидел среди наименьших и грифелем учился писать палочки и крючочки в то время, как старшие занимались более сложной наукой, и я с трудом понимал, что говорят в классе... Но к рождеству того же года уже написал Деду Морозу на немецком языке, что бы я желал иметь...

В 1928 году отец (так я всегда звал Франца Вайсмайера) переехал в Бельгию, где устроился директором крупного пивоваренного завода в городе Льеже. Вслед за ним переехала туда и вся семья. В начале учебного года я был зачислен в ученики первого класса начальной школы. Начал учиться, не имея понятия о французском языке, на котором велось преподавание, но к концу года опередил больше половины местных учащихся и успешно перешел во второй класс. Моими успехами я полностью обязан был Люсе и отцу, которые мной много занимались. В малом возрасте я уже говорил на трех языках - по-немецки с отцом, по-русски с матерью, по-французски в школе и с Люсей... Но как-то постепенно отношения Эммы Лювиговны со всеми родными стали портиться, а

с дочерью так обострились, что Люся ушла из дома и лишь через несколько лет появилась в нашей семье, чтобы попрощаться. За это время она вышла замуж за молодого чилийского инженера, окончившего Льежский институт, и собралась с ним в Южную Америку. Живет она в Сантьяго и, насколько я знал до войны, была там счастлива.

С уходом Люси я почувствовал, что потерял лучшего друга, и одновременно стал ощущать себя лишним в доме. Эмма Людвиговна начала попрекать меня каждым потраченным сантимом, дурно отзывалась о нашем родном отце, который, якобы, меня бросил... И я начал убегать из дома. В 1935 году меня взяли интерном в один колледж в Брюсселена техническое отделение. Потом продолжил учебу также интерном в техникуме в Шарлеруа, который закончил в 1939 году, получив диплом с отличной оценкой...

Диплом обеспечивал место мастера или техника на заводах, но поскольку я был иностранец, "апатрид", возможности получить работу по специальности у меня не было, и я был счастлив, что смог устроиться на маленькую фабрику учеником токаря за ничтожную плату - 1.75 франка в час. Через месяц я перебрался из Шарлеруа в Брюссель, где меня взяли на машиностроительный завод слесарем опять за те же 1.75 франка в час...

В мае 1940-го немцы вторглись в Бельгию, и я, как и большая часть мужского населения, уехал во Францию. В городе Сен-Назер работал чертежником, но после капитуляции Франции вернулся в Бельгию к моим старикам. Эмма Людвиговна со своим мужем к тому времени разошлась. Жила она неподалеку от Брюсселя, но вначале войны ее, как немку, арестовали, и вернулась она с больным сердцем и еще с больше чем прежде расстроенной нервной системой. Поселилась в Германии, в городе Аахен, затем переехала в Берлин.

В ограбленной немцами Бельгии положение очень ухудшилось и, последовав совету Франца Вайсмайера, с которым я переписывался, я уехал на работу в Германию. Но было мне там не по себе, и я нелегально перебрался через границу обратно в Бельгию, где посетил своего фатера... Это была моя последняя встреча с ним. На работу в Бельгии я устроиться не мог, тысячи безработных, наоборот, уезжали в Германию, чтобы как-то обеспечить свои семьи. Мне ничего не оставалось, как возвращаться в Ганновер. Вскоре я увидел первых несчастных русских, попавших в руки к немцам. Их положение было ужасное и несравнимо с теми условиями, в которых жили пленные других национальностей. Помощь, которую я для них смог организовать, была ничтожна по их нуждам. Здесь я вторично почувствовал ту необъятную тягу к Родине, которую испытывают оторванные от нее на долгие годы люди. Мне стало жалко за каждое бревно, за каждую мелочь, увозимую из России немцами - грабеж, так бахвально показываемый ими в кино. Круг моих друзей состоял из эмигрантской русской молодежи, стремящейся на Родину, и тех, кто были угнаны из Советского Союза в Германию. А меня все сильнее тянуло в Россию. Но иного способа попасть туда иначе, чем через армию, не было. После сдачи экзамена на переводчика с маршрутным билетом в кармане 7 мая 1943 года я уже был на железнодорожном вокзале...

Странные чувства испытал я, когда переехал границу и впервые ступил на родную землю. Приехал в Орел 12 мая, вечером был уже в штабе армии, где предстояло работать. Работа моя заключалась в приеме по радио и переводе сводок Советского информбюро и других передач. Конечно, с меня взяли расписку не разглашать слышанного и прочитанного. Работал я самостоятельно и бесконтрольно по ночам, а днем делал то, что мне заблагорассудится... Работа в штабе, где я ежедневно слушал голос Москвы, открыла мне глаза на все совершаемое гитлеровцами... Оставаться равнодушным ко всем несчастьям людей, которое я имел перед глазами, я не мог. Я связался с партизанами. В ночь на 28 ноября 1943 года принял последнюю сводку, написал последнее письмо моему старику Вейсмайеру и перешел на сторону красных партизан, которым до этого оказывал возможную помощь. Этим шагом окончательно порвал со всем прошлым. Местные люди очень тепло ко мне относились, кроме того, я влюбился в одну девушку, родители которой меня очень полюбили. Это была партизанская семья. Они же меня связали с

партизанами и впоследствии увели меня к ним. Перейдя к партизанам, я был уверен, что через несколько дней мы соединимся с наступающей Красной Армией, но получилось так, что мы вынуждены были находиться в очень тяжелых и опасных условиях рядом с фронтом около трех месяцев, где я под конец был ранен. 23-го февраля Красная Армия прорвала оборону, и мы оказались освобождены. Казалось, мои мечты, мои намерения близки к цели - мне 21 год, продолжу учебу, женюсь, по-новому, по-хорошему организую себе трудовую жизнь... И вдруг какой контраст!"

Но вернемся к тернистому пути другого Успенского -Георгия Михайловича. В Чите Харбинцев соединили с пленными японцами и повезли дальше на запад. Бесконечная заснеженная Сибирь, станции и полустанки, тоннели, громыхающие под вагонными колесами мосты через большие и малые реки, Барабинские степи, Приуралье, Урал... На какой-то станции ранним утром будущих эков выгрузили и, построив в колонну, под конвоем погнали на север. И вот он, первый уральский концлагерь, пустые занесенные снегом бараки, холодные нары, сугробы у проволочных заграждений... В этом странно пустом, предназначенном для кого-то другого лагере пробыли недолго. Расчистили снег и пошли этапом дальше на север, к Верхотурью. По пятеро в ряд - русские и японцы, разношерстно одетые, по летнему обутые. Шли, не ведая, кому выжить и вспоминать потом все, что было, кому стать лагерной пылью... Снежная целина, непрерывный шорох шагов, по сторонам конвой и сторожевые овчарки. "Не растягиваться, не разговаривать, с земли ничего не поднимать! Шаг влево, шаг вправо побег - конвой стреляет без предупреждения!" Тяжелое молчание, низкое бесцветное небо, чем-то напоминающие маньчжурские сопки, уральские горы.

И вдруг в голове колонны что-то произошло. Послышались окрики, залаяли псы... Впереди показалась темная масса встречных. Ближе, ближе... По обе стороны такие же охранники в бушлатах, такие же овчарки на поводках, но не похожи встречные на тех, что в колонне вместе с Успенским. Долгие шинели, пилотки и фуражки, поверх которых намотаны шарфы и тряпье, месящие снег офицерские сапоги и бесформенные опорки... Серые лица, молчаливый строй, морозное дыхание сотен людей. Пленные немцы...

Разминулись на стыке между Европой и Азией, прочитали в вопрошающих глазах встречных и свою судьбу. Пошли дальше по уже протоптанному пути -немцы в сибирские лагеря, японцы и харбинцы - в уральские. Не растягиваться, не разговаривать, с земли ничего не поднимать! Шаг вправо, шаг влево - побег, конвой стреляет без предупреждения!

Десять лет провел Георгий Михайлович за колючей проволокой. Казавшиеся нескончаемыми годы каторжного труда, унижений, отчаянья, ожидания... Будучи уже в преклонном возрасте, несколько раз принимался писать воспоминания, но до боли явственно оживало в памяти прошлое, сжималось сердце, и, исписав несколько страничек, отступался.

- Вы писатель, Вы, может быть, об этом напишете лучше,- сказал он мне, передавая эти тетрадные листки.

Я мог бы переложить своими словами написанное им, но не хочу этого делать, ибо это будет только пересказанная мной часть его жизни, его боль. И пусть в его воспоминаниях, отрывки из которых я приведу ниже, не достает красок, пусть они лаконичны, но это свидетельства того, кто страдал, погибал и все же выжил... Мой отец умер в лагункте близ Верхотурья, быть может, в одной из тех зон, где побывал Успенский, пути их могли бы пересечься, но мой отец погиб там еще в сорок первом. Приводя ниже выдержки из записок Успенского, я отдаю долг памяти и своему отцу, который зарыт где-то в каменистой уральской земле.

Из воспоминаний Георгия Михайловича Успенского:

"...Уже больше года я был заключенным, но так и не знал, за что. Все мы, харбинцы, надеялись на освобождение, ведь обвинений никому не предъявили, не было ни суда, ни приговора... Лишь в феврале 1947 года в Верхотурьинский лагпункт понаехали следователи, и нас по одному стали вызывать на допросы. Дошла очередь до меня. Следователь записал мои анкетные данные, и как бы, между прочим спросил:

- Скажите, Успенский, вы там... у себя эмигрантские газеты читали?

- Разумеется, читал,- ответил я.

- И что в этих газетах о нас писали?

- Всякое писали... Хорошего мало.

- Так, так...- следователь записал что-то в протокол.-

Искажали факты, клеветали значит. А со своими знакомыми вы прочитанное обсуждали?

- Иногда обсуждал.

- То есть вели разговоры. Так, так...- Он еще что-то написал и пододвинул ко мне протокол.- Подпишите свои показания. Вот здесь... Можете идти.

Только потом я понял, что этих "показаний" было достаточно для обвинения меня по 58-ой статье - измена Родине.

Сделав свое дело, следователи уехали. А нас вскоре перегнали еще северней- в Сосьвинский лагпункт. Голод ощущался все сильней, началась смертность... Умерших вывозили хоронить за зону, и, чтобы не оказалось среди них кого-нибудь живого, поставленный у ворот уголовник бил колотушкой трупы по голове...

Весной я был уже дистрофиком, болел цингой, кровоточили десны, шатались зубы, ноги опухли и покрылись мокрыми коростами. Наверняка я попал бы в число тех окоченевших трупов, если б меня и моего напарника, с которым я работал на лесоповале, не положили в стационар лагпункта. Назло смерти мы выкарабкались, видно, еще оставались какие-то силы, да и молоды были тогда... К тому времени, когда нас этапировали еще северней в Лозьевский лагпункт, я уже мог ходить и ушел туда вместе с этапом. Все лагпункты похожи, те же порядки, та же изнурительная работа... Работал я на разгрузке леса с приходивших из делян автомашин и впервые там попал в БУР. Кто-то "настучал", будто я собираюсь в побег, хотя и помысла у меня такого не было. Куда бежать? Там в БУРе мне наконец объявили приговор - двадцать лет по статье 58, пункты 4, 6, 11. Прочитавший приговор, начальник спецчасти велел мне расписаться, но я сказал, что расписываться не буду, поскольку изменником Родины себя не считаю. На это начальник ответил, что напишет, что я от росписи отказался, ничего это не меняет...

За годы, которые довелось провести в заключении, я неоднократно бывал в БУРах и ЗУРах, куда переводили зэков за различные провинности, а подчас просто чем-то не понравившихся лагерной администрации. Приказов о переводе не объявляли, иногда я даже не знал, за что наказан. Находившихся в бараках и зонах усиленного режима отправляли на самые тяжелые работы и обращались с нами особенно жестоко. В колонии 050 охранники выводили нас утром из барака в наручниках, и до просеки, где предстояло работать, гнали бегом. На отставших натравливали овчарок. Как-то на лесосеке один из доведенных до отчаяния вновь прибывших заключенных умышленно отрубил себе топором полступни. Мы с испанцем Антоном Моралесом были ближе других к нему и кинулись помочь, но начальник конвоя, дав очередь из автомата, заставил нас лечь лицом вниз, и только через какое-то время разрешил подойти к истекавшему кровью человеку. Изорвав рубахи, мы перетянули ему вену, перевязали обрубок стопы и на сколоченных здесь же носилках унесли в зону. Но на следующее утро он скончался от потери крови.

Помню сырые, пропахшие испарениями и испражнениями бараки, высокие заборы, колючую проволоку, вышки с часовыми... Утренние и вечерние пересчеты, жалкий паек, отчаянное цеплянье за жизнь... Шесть лет назад бывший со мной

в Вихоревке заключенный Василий Сергеевич Пасечников прислал мне свою поэму, в которой вспоминает пережитое:

Прошли года, но до сих пор
Ночами снятся те колонны,
В них строим мертвые стоят,
Развод выходит с мертвой зоны,
Вахтер, нарядчик, комендант...
Конвой считает нас, как прежде,
Бригады мертвые стоят
Все с номерами на одежде...

Жизнь заключенного не стоила ломаного гроша -охранников даже поощряли за убийства. Однажды в колонии 018 (или 022, точно не помню) Озерлага, когда нас вывели из зоны заготовлять дрова для караульного помещения, конвоир приказал одному из японцев принести сухостоя, чтобы подкинуть сушняка в костер. Но лишь только японец отошел за запретку, конвоир тут же застрелил его, за что ему дали неочередной отпуск. Чтобы получить этот поощрительный отпуск, иногда конвоиры умышленно переставляли в лесу запретки и оказавшихся за ними эков пристреливали, якобы за попытку к побегу. Бывало, что отчаявшиеся люди действительно пытались убежать, но оканчивалось это трагично. Обрато в зону привозили трупы.

Находясь в лагере, я много лет был лишен права переписки и долго ничего не знал об оставшейся на станции Сарту семье, об отце. Иногда вспоминал увезенного в Германию братишку. Как сложилась его жизнь? Надеялся, что счастливей моей...

II

На второй день, после того, как партизаны вышли из леса, Владимир оказался в СМЕРШе. Энкаведешник отобрал у него письма Франца Вайсмайера, фотографию, на которой Успенский сфотографирован в форме вермахта, отобрал бумажник с немецким орлом на обложке.

- Работаешь на абвер, сука! Рассказывай - с каким заданием внедрился в партизанский отряд?

Два дня Владимира продержали в сырой землянке без еды, на третьи сутки к вечеру увезли на подводе в штаб армии. Там опять допросили и переправили в штаб фронта. По пути конвоиры отобрали полушубок, теплый свитер и сапоги, бросив взамен обтрепанную шинель и солдатские ботинки. В штабе фронта допрос вел холеный капитан в перетянутой ремнем и портупеей еще не обмятой гимнастерке. Требовал назвать явки, пароли, имена резидентов... То, что этот служивший у немцев обросший щетиной, осунувшийся молодой человек якобы хотел лишь вернуться на Родину, вызывало у капитана смех.

- Какая тебе Россия родина? Ты же завербован фашистами, гад! Говори, какое у тебя задание! Ну!

Ничего не добившись, делал перерыв, и тогда краснорожий конвоир выводил Владимира из теплой избы в холодный амбар, заставлял сбросить шинель и стоять по стойке смирно. Сам присаживался неподалеку на чурбак и, положив на колени автомат, курил. Часа через два продрогшего вел обратно к следователю.

- Вспомнил?

-Мне нечего вспоминать.

-Проветри его еще, Васька!

Опять промерзший амбар, опять раздетому стоять по стойке смирно... Сквозняк в незакрытую дверь, мышиный помет на расщелявшемся полу, покуривающий трофейные папиросы конвоир... Страшное ощущение беспомощности и униженности...

-Вспомнил явки?

-Да не знаю я никаких явок, я же рассказал вам все, как было...

-Врешь, вспоминай!

Ночь в подвале на охапке сырой затхлой соломы, наутро опять все сначала. Во время очередного допроса следователь велел принести Успенскому горячей похлебки. Тот с жадностью выхлебал пересоленное варево. Через некоторое время попросил пить. Следователь налил стакан молока:

-Рассказывай!

-Поверьте, я все рассказал.

-Я тебе поверю... Я тебе поверю, белогвардейский последыш! - Выплеснув молоко на пол, следователь ткнул Владимира пистолетом под ребро.

- Повторяй: "У попа была собака!" Повторяй, повторяй: "У попа была собака!"

Кривясь от боли, Владимир выдавил:

-У попа была собака, у попа...

-Быстрее!

Владимир закашлялся и тут же получил удар пистолетом по зубам. Рот наполнился кровью... Сплюнув выбитый зуб, дал следователю оплеуху. Вбежал конвоир, и от удара прикладом сзади Владимир рухнул на пол.

Потом допрашивали в Гомеле, оттуда отправили с двумя конвойными поездом в Москву. Белорусский вокзал, впервые увиденные московские улицы, метро, Лубянка. На первом же допросе Владимир упал от слабости в обморок... На Лубянке продержали год. Здесь стал привыкать к тюремным порядкам - спать, положив руки поверх одеяла, держать руки за спиной, когда идешь под конвоем по тюремному коридору, быстро по команде поворачиваться лицом к стене, если навстречу ведут другого подконвойного. Ранний подъем, скудная еда, короткие прогулки по тюремному двору... Пять сокамерников, пять коек, паркетный пол, какого не видел больше ни в одной из тюрем, через которые довелось потом пройти.

Окончилась война, где-то неподалеку отгремели победные салюты, лето сменилось осенью, осень - зимой, менялись сокамерники, а для Успенского жизнь словно остановилась на месте.

Но как-то ночью открылась дверь камеры и вызвали: "На "У" с вещами на выход!" Перевели в Лефортово, через три месяца - в Бутырку. Большая камера на тридцать человек, все то же томительное ожидание чего-то. Однажды ночью повели к начальнику. Почему-то было принято водить ночью... Начальник прочел решение ОСО: "Статья 58-1а, десять лет". Тюремная жизнь кончилась, наступила лагерная.

Летом 1947 года в находившийся в Женеве Международный Комитет Красного Креста поступило письмо от Франца Вайсмайера:

"Высокоуважаемый господин!

Разрешите мне изложить Вам нижеследующее и просить о Вашем содействии. С конца ноября 1943 г. я разыскиваю своего приемного сына и с этой целью обращался в австрийское и русское Общество Красного Креста в Москве, но не получил никакого ответа. (...) Разыскиваемого зовут Владимир Успенский, родился он во Владивостоке, 12 августа 1922 г. Я взял к себе этого сироту в возрасте 3 лет в Бельгии, где я работал, и воспитал его. Мальчик учился в средней школе, а затем продолжил свою учебу на техника в Университете Труда г. Шарлеруа. Военные события. 1940 года не дали ему возможности учиться дальше. Нацисты посылали его с завода на завод, где он получил тяжелые травмы. В Берлине заболел тифом, а когда выздоровел, его послали на Восточный фронт. Он говорил и писан на немецком, русском и французском языках. В мае 1943 года он выехал из Берлина в Россию. До конца ноября мы получали от него письма регулярно. Его последнее письмо было выслано из Турска, с полевым номером 345000. С конца ноября мы больше не имели от него никаких вестей. В апреле 1944 г. мы получили наконец от унтер-офицера Нойбера с его места службы, проживающего по

адресу Бриег-Бреслау, Шварцер Вег 51, известие, что Владимир Успенский перешел к красным партизанам, за что был приговорен к смертной казни заочно.

Я и моя жена думаем, что наш мальчик все еще живой, в противном случае мы бы получили из Вермахта извещение об исполнении приговора, или о его смерти. Мы полагаем, что вполне возможно, в связи с переходом к красным партизанам, он где-то интернирован до выяснения его дела и потому не дать о себе знать.

Это интеллигентный и искренний молодой человек, который часто высказывал свое возмущение жестоким отношением немцев к русскому гражданскому населению, что побудило честного и чувствительного парня к этому действию. (...)

Мне скоро 70 лет, детей не имею, и потому я сделал все, чтобы мальчик стал честным человеком, это относится и к моей жене, к которой мальчик тоже очень привязан. (...) Война отняла у нас все, я потерял свою работу, в бомбежке потерял все имущество, и во имя человечности мы просим нам помочь.

Мы были бы Вам бесконечно благодарны, если бы Вы ему помогли в случае возвращения. Все расходы я готов взять на себя. Ф. Вайсмайер. "

Через полтора месяца в Зальбург пришел ответ:

"В ответ на Ваше письмо сообщаем, что мы не располагаем никакими данными о Владимире Успенском и что мы не в состоянии получить какое-либо известие о нем. так как Советский Союз не ратифицировал договор от 1929 г. Мы полагаем, что, если Владимир Успенский перешел к партизанам, то сейчас он стал советским гражданином. Если он знает Ваш адрес, он сможет Вам написать. Похоже, что он ждет удобного момента, чтобы возобновить связь с Вами.»

Репрессивная машина высвобождала тюремные камеры для новых арестантов. Вместе с сотнями таких же, как и он, осужденных строить за колючей проволокой светлое будущее, Владимира Успенского этапировали в Ярославль. С железнодорожной станции в местную тюрьму, оттуда ранним утром через весь город в серой молчаливой колонне на волжскую пристань. Вот она, великая русская река, о которой "мною песен пропето, но еще не пропели о том..."

Набитую заключенными баржу речной буксир натужно потянул на север. Выгрузили в недавно построенный, еще необжитый лагерь. Огороженная рядами колючей проволоки зона, сторожевые вышки, сырые бараки, нары в два яруса... На работу под конвоем в затон - накатывать и вязать в плоты бревна. Беспощадный лагерный быт с верховоющими в бараках урками, с правом сильного над бессильным, с лагерным матом, кражами, убийствами, с униженностью, бесправием и непроходящим ощущением голода...

Через год Владимира этапировали в Сибирь, туда, где больше леса, больше руды и больше требовавших постоянного пополнения концлагерей. Опять этап, перестук колес, духота гулаговского вагона, убегающие под вагонным полом невидимые рельсы. Миновали Урал, долго, долго ехали по Западной Сибири. Не знал Владимир, что по этой же железнодорожной магистрали навстречу ему с востока на запад год назад провезли на Урал его брата. Россия, которую он четвертый год видел сквозь тюремные решетки и колючую проволоку. казалось ему сплошным концлагерем. И уже потом, когда освободился, знакомые ему в свое время лишь по географической карте названия ассоциировались с тюрьмами, лагерями, этапами...

Огромный пересыльный лагерь в Красноярске, где ожидал отправки на север вместе с такими же как он, заключенными...

Енисей, по которому везли в так тесно набитом трюме колесного парохода, что для того, чтобы повернуться лежавшим на полу людям, подавалась команда, и тогда по трюму прокатывалась волна из человеческих тел... Пересыльный лагерь с трехъярусными нарами в Дудинке... Норильск, где тысячи эков кирками и лопатами копали в мерзлой земле

котлованы под фундамент будущего комбината. Политические, уголовники, военнопленные, прошедшие через немецкие концлагеря и оказавшиеся затем в лагерях советских...

По утрам будили ударами по подвешенному у входа в барак рельсу, затем по приказу начальства лязгание железа сменилось музыкой, двое заключенных - трубач и аккордеонист - подымали с нар вскоре опостылевшим, как и удары о рельс, бодрым мотивом песни: "Утро красит нежным светом стены древнего Кремля..." Как-то в разгар рабочего дня, когда заканчивали строить котельную с огромной стопятидесяти метровой трубой, засуетившиеся охранники отогнали зеков на полсотни метров от стройки и, к рабочей зоне подъехали на грузовиках какие-то люди с красными флагами, транспарантами и духовым оркестром. Возле котельной приехавшие устроили митинг, кого-то приветствовали, кого-то качали. Кинооператоры снимали завершение "комсомольской стройки..."

Помимо русских отбывали срок в Норильске поляки, сербы, украинцы, литовцы, венгры, чехи, евреи, эстонцы, молдаване, корейцы, латыши, румыны.. Были даже французы. С одним из них, Франсуа Петитом, Владимир познакомился еще в Красноярском пересыльном лагере, потом с ним же оказался в одном бараке в Норильске. Когда-то Франсуа служил в Иностранном легионе в Северной Африке и рассказывать о своих приключениях мог бесконечно. Была у него через приехавшего в лагерь вольноотпущенного шофера связь с оставшимся после отбытия срока в Норильске еще одним французом, который работал в городе фотографом. С помощью Франсуа лишенный права переписки Владимир отправил этому фотографу письмо для дальнейшей пересылки в Международный Красный Крест - просил узнать о судьбе своего отчима Франца Вайсмайера. Закончилось все трагично. Франсуа увели к приехавшему следователю, и в барак он уже не вернулся. Затем следователь взялся за Владимира - требовал сообщить, какие сведения Успенский передавал на волю... Приговор последовал вскоре: "Статья 58-6, шпионаж. Срок - 25 лет." Выходило, что выйти на волю он теперь сможет лишь в 1975-м...

После приговора Владимира отправили в Александровское, где, как пели еще до революции кандальники:

*Далеко в стране иркутской
Между гор крутых и скал
Обнесен стеной высокой
Александровский централ...*

Новое место заключения, но тот же изведанный уже тюремный быт. Железная койка с деревянным настилом, набитые трухлявой соломой матрац и подушка, полосатый костюм (трофей из Германии), бак с водой. Параша... Подъем в шесть утра, скудный завтрак, суп и каша на обед, паек хлеба - 420 граммов... Короткая прогулка по тюремному двору между каменных стен, отбой в 23 часа, свет электрической лампочки всю ночь. Содержали в центре в основном иностранцев. Был здесь даже в полном составе генералитет Квантунской армии.

Концлагерь угнетает работой, тюрьма - вынужденным бездельем. В центре надо было искать, чем занять себя, дабы не думать постоянно о довлеющем над тобой сроке, дожить до которого теперь казалось невозможно. Владимир научился портняжничать. Из заостренной спички сделал иглу и перешивал себе одежду. Прилежности он научился у немцев...

Шел август пятьдесят четвертого, когда харбинца Петра Дикарева, которому за очередную провинность лагерный режим заменили тюремным, доставили в

Александровский централ. Ещё живя в Харбине, Петр знал Георгия Успенского, бывал иногда у него дома, по вечерам играли в подкидного, пили китайский чай, а подчас не только его...

На второй день пребывания в центре Дикарев услышал прерывистый стук в стену - по знакомой обитателям тюрем связи кто-то из смежной камеры интересовался вновь прибывшим.

Отозвавшись коротким ударом в стену, Дикарев передал по буквам свою фамилию. В свою очередь спросил - кто сосед? Тот ответил:

-Успенский.

От проходивших через пересыльные лагеря заключенных разбросанные по разным местам харбинцы иногда получали известия о земляках. Знали - кто-то умер, кого-то встречали на пересылках, с кем-то вместе отбывали в зоне... Об Успенском тоже знали - тянет свой срок возле Тайшета.

-Юрка, ты?- обрадовался Дикарев.

-Я - Владимир.

Знал Дикарев, что семилетнего Володю когда-то давно забрала с собой уехавшая из Харбина немка... Спросил:

-Ты жил в Харбине?

-Откуда знаешь?- торопливо простучал Владимир.

-Я жил в Харбине... Арестовали в сорок пятом...

Юру тоже...

-Где он?

-Тайшет... Озерлаг...

Два слова, тринадцать букв? Тайшет. Озерлаг.

Казалось, еще доносятся частые удары в стену, но это билось разволновавшееся сердце. Юра, братик... Ты всегда существовал в моей памяти, был частью прошлого, которое осталось на самом доньшке жизни и только иногда во сне всплывало, озаренное тихим светом утраченного детства... Я долго искал тебя, искал и так боялся, что буря, унесшая столько жизней, разлучила нас навсегда. Теперь я знаю - ты жив. А Тайшет -это где-то рядом. Юра, братик, значит, и тебя везли и гнали по бесконечным этапам. И тебя не миновала чаша сия...

Через месяц начальник лагпункта в Вихоревке вызвал к себе заключенного, значившегося под номером И187:

-Письмо тебе, Успенский. Можешь ответить... Правила тебе известны - два письма в месяц. Понятно?

-Понятно, - повторил Георгий Михайлович дрогнувшим голосом.

-Возьми, - начальник протянул ему распечатанный конверт .

- Можешь идти.

Глянув на обратный адрес, Георгий Михайлович прижал письмо к груди и почти выбежал из кабинета.

А в далеком отсюда Зальцбурге старый Вайсмайер продолжал разыскивать приемного сына. И, о счастье! В августе 1955-го Зальцбургская служба розыска Австрийского общества Красного Креста сообщила Немецкому Красному Кресту в Гамбург: "Нам удалось найти пропавшего без вести Владимира Успенского совершенно невероятным образом, а именно благодаря тому, что брат его Георгий оказался тоже заключенным, и братья узнали друг о друге через других заключенных. Это невероятно, но очень отраднo..." А случилось так, что Георгий, который тогда уже не был на столь строгом режиме, узнав из письма брата о его жизненных перипетиях, написал запрос в немецкий Красный Крест о местонахождении Эммы Ваисмайер, много лет назад увезшей из Харбина в Германию его младшего брата. Довольно скоро пришел ответ: Госпожа Эмма

Вайсмайер проживает в Берлине по такому-то адресу. Георгий написал ей. Цепочка замкнулась.

Хочу здесь привести выдержку из воспоминаний немецкого военнопленного Шмидекнехта, сохранившихся в семейном архиве братьев Успенских:

"В декабре 1954 года я прибыл в лагерь 011 на Тайшетской трассе в Иркутской области (Восточная Сибирь), где познакомился с одним русским заключенным из Маньчжурии - Юрой Успенским, который был тогда бригадиром, - вспоминал Шмидекнехт, - Однажды я увидел, что он упаковывает маленький ящик, в который складывал немецкие продукты, что вызвало у меня любопытство. В ответ на мой вопрос Юра рассказал, что у него есть брат Владимир, который находится в заключении недалеко от Иркутска. Четырехлетним мальчиком этот брат был привезен из Маньчжурии в Австрию, где стал приемным сыном одного австрийца. Поскольку впоследствии Владимир оказался в вермахте, его осудили, и он находится в заключении уже десять лет... Писать за границу, тем более получить оттуда что-либо он не имеет права. Но Юра находился уже не на столь строгом режиме, и у него появилась возможность связаться с приемными родителями Владимира, которые прислали ему посылку. Теперь он перепаковывал эту посылку для отправки брату... Потом я еще видел, как он упаковывал ему посылки, и со своими товарищами выделяли от себя долю, чтобы увеличить их содержимое. Забота о брате была очень трогательной, и мы все Юру полюбили".

Больше двух лет, как не было Сталина, не было Берии, медленно, но неотвратимо начиналась оттепель.

Наконец почти тринадцать лет не имевший известий о приемном сыне Франц Вейсмайер смог написать ему в тюрьму открытку. В декабре 1955-го Владимиру Успенскому разрешили написать ответную открытку в Зальцбург:

"Дорогой отец! Наконец я получил возможность послать тебе несколько строчек, что и делаю с огромным удовольствием... И огромная благодарность тебе за посылки... Пусть Новый год принесет тебе исполнение всех твоих желаний, а самое главное - здоровья и много счастья к твоей скромной жизни. Желаю тебе всего того, что только может пожелать своему пожилому и доброму отцу его благодарный сын. Пожалуйста, передай Люси мои самые сердечные пожелания счастья и выпейте оба стаканчик за того, который не может присоединиться к нам! Как ты сейчас поживаешь, дорогой отец, и как ты себя чувствуешь, живя на твоей красивой родине? Твою доброту я уже давно научился ценить, что не всегда было в молодости, за что прошу простить меня... Что касается моего положения, то ты не должен беспокоиться, так как я смотрю на будущее с большой надеждой и думаю, что и моим трудностям скоро придет конец. К сожалению, я уже не тот крепкий малый, каким был раньше, но в моральном отношении я крепок, как скала... Еще раз желаю тебе всего хорошего в Новом году. Крепко обнимаю, целую. Твой сын Владимир».

Да, отнюдь не крепким малым после одиннадцати лет заключения был теперь Владимир Успенский. Больная печень, больной желудок, по ночам не знал, как удобнее положить ноющие в суставах руки. Но появилась вселяющая силы, зовущая к жизни надежда. И были письма, словно доносившие голоса самых близких ему людей. Теперь он знал, что кто-то ждет его, что кому-то судьба его не безразлична. Но сколько лет загублено! Лучших молодых лет...

"Чувствую по твоему письму, Володя, что слишком много тебе пришлось пережить, - писал ему Георгий. - А у меня от всего пережитого память очень плохо стала, прошлое плохо помню и даже новое быстро забываю... Но бодрись, братишка, не падай духом и береги себя. Мы еще пригодимся матушке России, дорогой нашей Родине, и докажем, что мы ее любим так, как должен любить каждый русский..."

Лишь только представилась возможность, Георгий написал письмо в Харбин, откуда уже начался массовый исход русских. На харбинскую железнодорожную станцию подавали железнодорожные составы, и репатрианты ехали в СССР, где им были определены места пребывания... Оказалось, что отец Георгия, мачеха и младший брат Александр уже прибыли в Советский Союз и живут на станции Копьево. Теперь, почти через десять лет, Георгий смог написать первое письмо и отцу.

Оттепель продолжалась, восстанавливалась связь с родными, все явственней брезжила долгожданная свобода.

"Группы поляков уехали домой независимо от срока, - сообщал из Вихоревки Георгий Владимиру- Ждем еще перемен в лучшую сторону. В эту субботу самодеятельность нашего лагпункта выступала в вольном клубе, где после концерта были танцы под наши джаз. Впервые за десять лет я танцевал, а также многие мои товарищи, с вольными дамами и девушками. И все мы были, как во сне..." 29 апреля 1956 года Георгий Михайлович Успенский вышел на свободу. Но брат его все еще продолжал томиться в заключении. Правда, произошла перемена и с ним - из Азии его привезли в Европу - из Александровского централа во Владимирскую тюрьму № 2, где в основном находились иностранцы. Приговоренный в Германии к расстрелу за то, что перешел к русским, в России он оставался иностранным шпионом... Надежда на освобождение становилась то явственней, то тускнела... Ночами просыпался на жесткой постели и думал, думал..., *"Мысль о том, что ты живешь в бедности и несмотря на это посылаешь мне помощь, не дает мне покоя, - написал он Францу Вайсмайеру.*

- Из твоей карточки я узнал, что ты уже двенадцать лет живешь у хороших людей. Я им благодарен за привет, к сожалению, я не смог прочесть их имена, так как открытка попала, вероятно, под дождь, и некоторые места размазаны. Это было бы моей обязанностью, тебе, дорогой отец, скрасить твою жизнь и помочь на старости лет, но -увы, я не в состоянии этого сделать, прошу тебя, не думай обо мне плохо.. -"

В феврале 1956 года на XX съезде партии прозвучали слова о культе личности. Формулировка, которая, по мнению ее придумавших, должна была задним числом оправдать все то страшное, что сотворили за прошедшие десятилетия: концлагеря, спецпоселения, миллионы безвинных жертв, исковерканных жизней... Наконец-то стали пересматривать дела осужденных по 58-ой статье - мертвых посмертно реабилитировать "за отсутствием состава преступления", оставшихся живыми с этой же формулировкой выпускать на свободу.

- Вы подданный иностранной страны и имеете право вернуться в нее, - сказал начальник тюрьмы, вручая Владимиру Успенскому документ об освобождении.

-Но можете уехать на жительство в Сибирь, где, как мне известно, живут ваши родственники".

Как тяжел был выбор! Тут в России старший брат, тут младший, которого он еще не видел, тут родной отец... Здесь Родина... Я остаюсь в России. Прости, добрый старый Франц.*

В декабре 1956 года бывший штабс-капитан Михаил Михайлович Успенский и его сыновья встретились. С изломанными жизнями, подорванным здоровьем, несостоявшимися судьбами... Много лет отделенные друг от друга колючей проволокой концлагерей и границ, войной и режимами, они наконец обнялись в Вихоревке, где остался на жительство Георгий Михайлович. У каждого из них была возможность жить вдали от России. Мог в свое время уехать дальше от ее границ Михаил Михайлович; мог вернуться в Китай, освободившись из заключения, его старший сын; предлагали возвратиться в Германию Владимиру; мог остаться в Китае - самый младший - Александр. Но они предпочли Родину. Трагична любовь к России русских эмигрантов того

поколения. Поруганная и отвергнутая, непонятая и растоптанная вместе с верой и надеждой их любовь.

Давно почил в сибирской земле бывший штабс-капитан, нет на свете двух его младших сыновей, изо всей семьи сегодня в живых лишь Георгий Михайлович Успенский. В День Памяти политзаключенных, когда в Томске у Камня Скорби собирается кучка бывших репрессированных, поднявшись на ступеньку у гранитного камня, Георгий Михайлович достает из кармана посвященную жертвам ГУЛАГа поэму и начинает громко читать:

*Мы вспомним всех вас, безвинно умерших,
Мы живы еще, но боль не прошла.
И вечную память споем мы ушедшим.
Чтоб вечный покой обрела их душа.*

Голос Успенского прерывается, к горлу подступает комок...

А по асфальту мимо сквера проносятся машины, нарастает и удаляется гул троллейбусов, идут озабоченные своими делами люди. Кто-то, проходя мимо, глянет на жмущихся к гранитному камню стариков, кто-то не обратит внимания. Ветер с близкой реки срывает с деревьев мертвые листья, треплет на обнаженных головах седые волосы и тщетно пытается загасить пламя восковых свечей, зажженных около поникших букетиков последних осенних цветов.

* Через десять лет, в 1966-м Владимир Успенский вместе с женой смог побывать в Зальцбурге и обнять своего приемного отца, которому был столь многим обязан.

Сибирские Афины. №1-2. 1996 г.